Берта / рассказ

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 23 января, 2025
Берта / рассказ БЕРТА

Мой престарелый друг (иногда ведь дружишь с людьми гораздо старше тебя), мой престарелый друг доктор Бонне настойчиво приглашал меня погостить к себе в Риом. Я совершенно не знал Оверни и в середине лета 1876 года решил съездить к нему.
Я приехал с утренним поездом, и доктор был первым человеком, которого я увидел на станции. На моем друге был серый костюм и круглая черная шляпа из мягкого фетра, с широкими полями и очень высокой тульей, которая суживалась кверху, наподобие каминной трубы, — настоящая шляпа овернского угольщика. В таком уборе и в светлом пиджачке, щуплый и большеголовый, доктор был похож на седоволосого юношу.
Он обнял меня с нескрываемой радостью, так провинциалы обычно встречают долгожданного гостя, затем широко повел рукой и с гордостью воскликнул:
— Вон вам и Овернь!
Я видел перед собой только горную цепь с вершинами в форме усеченных конусов, — очевидно, потухшие вулканы.
Потом, указывая на название станции, начертанное по фронтону вокзала, он произнес:
— Риом, родина юристов, гордость судейского сословия, хотя, казалось бы, ему следовало быть родиной врачей.
Я спросил:
— Почему?
Он ответил со смехом:
— Почему? Переверните это слово и получите «mori» — то есть «умирать»… Вот почему, молодой человек, я обосновался в этой местности.
И, в восхищении от своей шутки, он увел меня, весело потирая руки.
Едва успел я выпить чашку кофе с молоком, как уже пришлось приняться за осмотр старого города. Я полюбовался домом

аптекаря и другими знаменитыми риомскими домами с каменной резьбой на фасадах, почерневшими от времени, но прелестными, как безделушки. Я полюбовался статуей мадонны, покровительницы мясников, и даже выслушал по этому поводу рассказ об одном забавном приключении, который перескажу в другой раз; затем доктор Бонне сказал:

— Теперь разрешите мне отлучиться на пять минут, чтобы посетить одну больную, а после этого я поведу вас на холм Шательгийон, покажу вам перед завтраком общий вид города и всей цепи Пюи-де-Дом. Обождите меня на улице, я сейчас же вернусь.

Он покинул меня около одного из старых провинциальных особняков, темных, замкнутых, безмолвных и мрачных. Но этот дом показался мне особенно зловещим, и вскоре я понял причину этого. Все окна второго этажа были до половины закрыты глухими деревянными ставнями. Открытым оставили только самый верх окон, словно для того, чтобы люди, запертые в этом большом каменном сундуке, не могли смотреть на улицу.

Когда доктор вернулся, я поделился с ним своими наблюдениями. Он ответил:

— Вы не ошиблись: несчастное существо, которое оберегают в этом доме, не должно никогда видеть, что происходит за стенами дома. Это сумасшедшая, вернее, слабоумная, еще вернее, идиотка, или, как у вас в Нормандии говорят, тронутая.

Ах, это тяжелая история, но в то же время любопытнейший патологический случай. Хотите, я вам расскажу? Я согласился. Он продолжал:

— Вот в чем дело. Лет двадцать тому назад у владельцев этого особняка, моих пациентов, родился ребенок — девочка, с виду совершенно нормальная девочка.

Но вскоре я заметил, что, несмотря на отличное физическое развитие этого маленького существа, разум его не просыпается. Ходить она начала очень рано, но совсем не могла говорить. Сначала я думал, что она глухая, впоследствии же убедился, что слышит она превосходно, но ничего не понимает. От резкого шума она вздрагивала, пугалась, но в причине его не отдавала себе отчета.

Она росла, становилась красавицей, хоть и немой, немой из-за своего слабоумия. Я испробовал все средства для того, чтобы хоть малейший луч сознания блеснул в ее мозгу, — все было тщетно. Мне казалось, что она узнает свою кормилицу, но когда девочку отняли от груди, она перестала ее узнавать. Она так и не научилась говорить слово «мама» — первое слово, которое лепечут дети, и последнее, которое шепчут солдаты, умирая на поле сражения. Иногда она что-то невнятно бормотала или пронзительно кричала, как младенец, — и только.

В хорошую погоду она непрерывно смеялась и испускала легкие крики, похожие на птичье щебетание; когда шел дождь, она плакала, стонала, выла мрачно и зловеще, как собака воет по покойнику.

Она любила валяться по траве, словно молодой зверек, бегала, как полоумная, а когда солнце утром заглядывало в комнату, всякий раз хлопала в ладоши. Когда открывали окно, она тоже хлопала в ладоши и прыгала на кровати, чтобы ее скорей одели.

Она, казалось, не видела никакого различия между людьми: свою мать не отличала от няньки, отца — от меня, кучера — от кухарки.

Я любил ее родителей, несчастнейших людей, и навещал их почти ежедневно. Я часто обедал у них и заметил, что Берта (ее назвали Бертой) как будто разбирается в блюдах и одни кушанья предпочитала другим.

Ей исполнилось тогда двенадцать лет. Физически она была развита, как восемнадцатилетняя, а ростом уже выше меня.

Мне пришла в голову мысль развить в ней любовь к лакомствам и попытаться этим путем внедрить в ее мозг представление о различии вещей; приучить ее с помощью разнообразных вкусовых ощущений, целой гастрономической гаммы, если не к сознательным суждениям, то хоть к полуинстинктивному отбору, что уже явилось бы в некотором роде примитивной работой мысли.

После этого, вызывая в ней пристрастия к кушаньям и тщательно отбирая те из них, которыми можно было воспользоваться, следовало добиться чего-то вроде обратного воздействия тела на психику и тем самым постепенно расширить круг едва заметной деятельности ее мозга.

И вот однажды я поставил перед ней две тарелки: одну — с супом, другую — с очень сладким ванильным кремом. Я заставил ее поочередно попробовать оба кушанья. Затем предоставил ей свободу выбора. Она съела крем.

Вскоре я сделал ее лакомкой, такой лакомкой, что казалось, у нее в голове была только одна мысль, или, вернее, только одно желание — поесть. Она прекрасно различала блюда, тянулась к тем, которые ей нравились, и с жадностью завладевала ими. Она плакала, когда их у нее отнимали.

Тогда я решил приучить ее приходить в столовую по звонку колокольчика. Это далось не сразу, но в конце концов я своего добился. В ее смутном сознании, несомненно, возникло представление о какой-то зависимости между звуком и вкусом, о соотношении между ними, об их перекличке и в результате появилось нечто вроде ассоциации, если только можно назвать ассоциацией подсознательную связь двух восприятий.

Я продолжал опыт и научил ее — но с каким трудом! — узнавать время еды на циферблате часов.

Долгое время мне не удавалось привлечь внимание Берты к часовым стрелкам, но зато я сумел вызвать ее интерес к бою часов. Я достиг этого очень простым средством: отменил обеденный колокольчик, и все поднимались с мест, чтобы идти к столу, как только медный молоточек начинал отбивать полдень.

Но считать удары молоточка я никак не мог ее научить. Она бросалась к двери каждый раз, как слышала бой часов; однако мало-помалу она поняла, что не каждый звон имеет отношение к еде, и ее взгляд, руководимый слухом, начал часто задерживаться на циферблате.

Заметив это, я стал каждый день в полдень и в шесть часов, когда приближалась ожидаемая ею минута, указывать пальцем на цифру двенадцать и на цифру шесть; вскоре я заметил, что она внимательно следит за движением маленьких медных стрелок, которые я часто переводил у нее на глазах.

Итак, она поняла, точнее следовало бы сказать, она усвоила! Я сумел внедрить в ее мозг если не понимание, то хоть ощущение времени: ведь этого можно добиться и от карпов, если регулярно кормить их в одно и то же время, хотя у них и нет наглядного

пособия в виде часов.
Когда я достиг этого результата, все часы в доме стали предметом ее исключительного интереса. Она с утра до вечера разглядывала их, прислушивалась к их бою, поджидала его. Однажды произошел даже забавный случай. В прелестных стенных часов в стиле Людовика XVI, повешенных у изголовья ее кровати, испортился бой, и она это заметила. Она не спускала глаз со стрелок, ожидая, когда же пробьет десять часов. Но вот стрелка миновала эту цифру, и Берта была поражена, что ничего не слышит, настолько поражена, что села на стул, явно обуреваемая той жестокой тревогой, какая охватывает нас перед лицом великих катастроф. Она решила посмотреть, что будет дальше, и с необыкновенным терпением просидела перед часами до одиннадцати. Конечно, она и на этот раз ничего не услышала; тогда, охваченная вдруг не то безумным гневом обманутого, обольщенного существа, не то ужасом перед страшной загадкой, не то, наконец, просто бешеным нетерпением страстного человека, натолкнувшегося на препятствие, она схватила каменные щипцы и с такой силой ударила по часам, что мгновенно разбила их вдребезги.
Итак, ее мозг работал, она соображала, правда, какими-то темными путями и в очень узких границах, потому что я так и не мог научить ее различать людей, подобно тому как она различала часы дня. Чтобы пробудить в ней проблеск сознания, нужно было обращаться к ее страстям в физиологическом смысле этого слова.
Вскоре мы получили и другое подтверждение этого факта, увы, ужасное.
Она стала красавицей; это был в полном смысле слова образцовый экземпляр женской породы, какая-то дивная, но безмозглая Венера.
Ей исполнилось шестнадцать лет, и я редко видел такое совершенство форм, такую стройную фигуру, такие правильные черты. Я назвал ее Венерой; да, это была Венера, золотоволосая, полная, сильная, с большими глазами, светлыми и пустыми, синими, как цветок льна, с большим ртом и сочными губами; у нее был рот сластолюбицы, чувственной женщины, рот, созданный для поцелуев.

И вот однажды утром ее отец пришел ко мне; у него было какое-то странное выражение лица, и, даже не ответив на мое приветствие, он сказал, садясь на стул:
— Мне надо поговорить с вами об одном очень серьезном деле. Как вы думаете… можно ли… можно ли выдать Берту замуж?
Я подскочил от удивления и воскликнул:
— Берту? Замуж?.. Но это немыслимо!..
Он продолжал:
— Да… я знаю… но подумайте, доктор… а вдруг… Мы так надеемся… быть может… у нее будут дети… и это окажется для нее таким потрясением… таким счастьем… И, как знать, может быть, материнство пробудит в ней сознание?..
Я был крайне озадачен. Это было логично. Вполне вероятно, что такое новое для нее чувство, тот чудесный материнский инстинкт, который заложен в сердце каждой женщины и каждой самки, который заставляет курицу бросаться на собаку, чтобы защитить своих цыплят, мог произвести бурный переворот в ее спящем мозгу и пустить в ход бездействующий механизм ее мысли.
Я тотчас припомнил, кроме того, один пример из личных наблюдений. За несколько лет до того у меня была охотничья собака, такая тупая, что от нее ничего нельзя было добиться. Она ощенилась и на следующий же день стала не то, чтобы умной, но во всяком случае такой же, как все не особенно смышленые собаки.
Едва только я представил себе такую возможность, как почувствовал, что во мне крепнет желание выдать Берту замуж не столько из расположения к ней и к ее несчастным родителям, сколько ради научных наблюдений. Что из этого выйдет? Любопытнейшая проблема!
Поэтому я ответил отцу:
— Может быть, вы и правы… отчего бы не попробовать?.. Попробуйте… но… но вы никогда не найдете человека, который согласился на такой брак.
Он произнес вполголоса:
— У меня есть для нее жених.
Я изумился и спросил, запинаясь:
— Порядочный человек?… Человек вашего круга?..

Он ответил:
— Да, конечно.
— Ага! Но… разрешите узнать его имя?
— Я затем и пришел, чтобы посвятить вас во все и посоветоваться. Это господин Гастон дю Буа Люсель.
Я едва не вскрикнул: «Какой подлец!», но сдержался и, помолчав, произнес:
— Отлично. Я не вижу никаких препятствий.
Бедняга пожал мне руку.
— Через месяц мы выдадим ее замуж, — сказал он.

Г-н Гастон дю Буа Люсель был повеса из хорошей семьи; прокутив отцовское наследство и наделав долгов всякими неблаговидными способами, он изыскивал теперь какой-нибудь источник дохода.
И нашел его.
Красивый и представительный малый, но кутила, из отвратительной породы провинциальных кутил, он показался мне подходящим мужем для Берты: от него потом можно будет отделаться, назначив ему денежное содержание.
Он стал бывать в доме, ухаживал, паясничал перед этой красивой дурочкой, которая к тому же ему как будто нравилась. Он приносил цветы, целовал ей руки, садился у ее ног и смотрел на нее нежным взглядом; но она не обращала внимания на его любезности и совершенно не отличала его от окружавших ее людей.
Состоялась свадьба.
Вы понимаете, конечно, как было возбуждено мое любопытство.
На следующий день я пошел посмотреть на Берту, чтобы по выражению ее лица выяснить, как отразилось на ней это событие. Но она осталась такой же, как и прежде, — всецело была поглощена часами и обедом. Он, напротив, казался влюбленным, старался развеселить и привлечь к себе жену, заигрывал с ней и поддразнивал ее, как котенка.
Ничего лучшего он придумать не мог.
Я часто стал наведываться к новобрачным и вскоре заметил, что молодая уже узнает мужа и бросает на него жадные взгляды, какими до сих пор удостаивала только сладкие блюда.

Она следила за его движениями, различала его шаги на лестнице и в соседних комнатах, хлопала в ладоши; когда он входил, и лицо ее преображалось, загораясь огнем глубокой радости и вожделения:
Она любила его всем и всей душой, всей своей несчастной, убогой душой, всем своим несчастным сердцем благодарного животного.
Это была поистине трогательная и наивная картина страсти, простой, плотской, но в то же время целомудренной страсти, которою сама природа наделила живые существа, пока человек не осложнил и не изуродовал ее всеми оттенками чувства.
Но мужу очень скоро наскучило это красивое, пылкое и бессловесное существо. Он стал проводить с нею лишь несколько часов в день, считал вполне достаточным, что отдает ей свои ночи.
И она узнала страдание.
С утра до ночи она ждала мужа, устремив взгляд на часы, перестала интересоваться даже едой, потому что он всегда обедал на стороне — в Клермоне, в Шатель-Гийон, в Руайя, где угодно, лишь бы не дома.
Она похудела.
У нее пропали все другие помыслы, все другие желания, все другие стремления, все другие смутные надежды; часы, проведенные без него, стали для нее часами жестоких пыток.
Вскоре он перестал ночевать дома. Он проводил вечера с женщинами в казино Руайя и возвращался домой лишь на рассвете.
Она отказывалась ложиться в постель до его прихода. Она неподвижно сидела на стуле, не сводя пристального взгляда с маленьких медных стрелок, которые неуклонно, медленно и мерно двигались по фаянсовому кругу, размеченному цифрами.
Она издалека различала топот его лошади и сразу вскакивала, а когда он входил в комнату, жестом привидения указывала на часы, словно говорила: «Взгляни, как поздно!» Мало-помалу он начал бояться этой влюбленной и ревнивой идиотки и стал раздражаться, как все грубые натуры. Однажды вечером он ее ударил.
Послали за мной. Она билась и рычала в жестоком припадке

отчаяния, гнев или страсти — как это узнаешь? Разве можно угадать, что происходит в таком первобытном мозгу?
Я успокоил ее уколами морфия и запретил допускать к ней этого человека, так как понял, что брак неизбежно приведет ее к гибели.

Тогда она сошла с ума! Да, дорогой мой, эта идиотка сошла с ума. Она непрерывно думала о нем и ждет его. Она ждет его весь день и всю ночь, когда бодрствует и когда спит, в эту минуту и всегда. Так как я видел, что она все худеет и худеет, что она не может оторвать взгляда от циферблата часов, я велел убрать из дому все, что напоминало ей о времени. Я лишил ее таким образом возможности считать часы и беспрерывно разыскивать в смутных воспоминаниях, когда же в былые дни он возвращался домой. Я надеюсь в конце концов убить в ней память и погасить слабый огонек сознания, который сам с таким трудом зажег.
На днях я произвел опыт. Я дал ей свои часы. Она взяла их, некоторое время рассматривала, а потом дико закричала, словно вид этого маленького механизма внезапно пробудил в ней уже заглохшее воспоминание.
Она теперь страшно худа, так худа, что внушает жалость, глаза ее впали и ярко блестят. И она все мечется по комнате, точно зверь в клетке.
Я велел загородить решетками окна, приделать высокие ставни и прибить все стулья к паркету, чтобы она не могла выглядывать на улицу, смотреть, не возвращается ли он домой.
О несчастные родители! Что за горькая жизнь у них!

Мы взобрались на холм; доктор обернулся ко мне и сказал:
— Посмотрите отсюда на Рио́м.
У города был угрюмый вид старинной крепости. За ним широко раскинулась зеленая лесистая равнина, усеянная деревнями и городками, подернутая легкой голубой дымкой, придававшей особое очарование пейзажу. Справа от меня вздымалась вдали высокая горная гряда с чередой вершин, то круглых, то словно срезанных ударом сабли наотмашь.
Доктор начал перечислять названия окрестностей и горных

вершин, рассказывал их историю.
Но я его не слушал: я думал только о сумасшедшей, видел только ее. Она словно парила, как зловещий дух, над всем этим обширным краем.
И я внезапно спросил:
— А что сталось с ее мужем?
Мой друг слегка удивился, но после минутного колебания ответил:
— Он живет в Руайя, и ему выплачивают содержание. Он доволен и распутничает.
Когда мы неторопливым шагом возвращались домой, оба опечаленные и молчаливые, нас обогнала английская коляска, которую мчала галопом чистокровная лошадь.
Доктор схватил меня за руку:
— Вот он!
Я разглядел только серую фетровую шляпу, сдвинутую на ухо, и широкие плечи, промелькнувшие в облаке пыли.

* * *

Напечатано в «Фигаро» 20 октября 1884 года.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 4. МП «Аурика», 1994
Перевод Н.Мандельштам. Hekaýalar